

11 СМЕНА

В. Янин. История — наука нравственная

Почему не состоялся эксперимент?

Смерч над лесами. Фоторепортаж

Наши это дети или не наши?

Братья Стругацкие. «Улитка на склоне»

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь.
Борис ПАСТЕРНАК
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
ИССА, сын крестьянина



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕЦ

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажные, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты и если правда то, что рассказывала одноногая повриха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания, тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и, ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клочкотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продуваемая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарошинец из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого наконец потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.
— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.
— Вот как? — Домарошинец усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Очень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарошинец с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

— Босиком, потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

— Минуточку!

Домарошинец проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя, даже если она действительно там, а там ли она — это особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он подпернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справиться нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству...

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарошинец. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарошинец шмыгнул носом.

— А вы не забываетесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете,

может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничего не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. — Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно, если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарошинеца шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарошинец доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсыдете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарошинец посмотрел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я улекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарошинец, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходами!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарошинец. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так, а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарошинец замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарощинер, озира-
ясь. Молчите и молчите. Не надо никаких слов.
Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял, и все. Вы
можете быть совершенно спокойны. Не понял и не
понял. И вообще я здесь не был и вас не видел.
Я, если хотите знать, все утро просидел на этой
скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я по-
говрю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщерблен-
ным ступеням, свернули на аллею, посыпанную мел-
ким красным песком, и через ворота вступили на
территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на
определенном уровне, — говорил Домарощинер. —
И каждый должен знать, на что он может претендо-
вать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это
мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются
права, там начинаются обязанности, и смею вас уве-
рить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как
и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей
с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж,
крытый гофрированным железом, пересекли спортив-
ную площадку, где на столбах одиноко висела дыря-
вая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, воз-
ле которых такелажники стаскивали с грузовика гром-
адный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях
которой стоял с портфелем болезненно-бледный ко-
мендант с неподвижными выпученными глазами,
вдоль длинного забора, за которым скрежетали двига-
тели, они шли все быстрее, потому что времени оста-
валось мало, и Домарощинер уже больше ничего не
говорил, а только задыхался и сипел, потом они побе-
жали, и все-таки, когда они ворвались в столовую,
было уже поздно, и все места были заняты, только за
дежурным столиком в дальнем углу оставалось еще
два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер
Тузик, заметив, что они в нерешительности топ-
чутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к
себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира,
так что у них на столе на заскорузлой скатерти вы-
строилось шесть бутылок, а когда Перец задвинул под
столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без
сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столика-
ми выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик
ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там
снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там
четыре штуки, доказывая потом, что ты не домкрат.

— Ну я, например, вообще не пью, — с достоин-
ством сказал Домарощинер. — Так что ко мне это
вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. —
Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень большая! — забеспокоился До-

марощинер. — Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу
мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это
действительно была справка, написанная неразборчи-
вым медицинским почерком. Перец различил только
одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись,
попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и под-
сунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще
за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня
в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил
полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал су-
став указательного пальца и, прослезившись, сказал
севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Dere-
вья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не
стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так —
прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним
словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-
как даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на
десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конеч-
но же, не корчилось и не корячилось, оно начинало
дрожать, когда к нему приближались, и старалось
уйти. Может быть, ему было противно. Может быть,
страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, —
объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — со-
общил Домарощинер, облизывая губы. — Феноменаль-
ная производительность. Я бы даже сказал, что это
не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие ко-
мбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из
жестяных кружек, из кофейных чашечек, из сверну-
тых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех
были засунуты под стулья. И все, наверное, могли
предъявить справки о болезнях печени, желудка,
двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за про-
шлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал
Тузик в повышенном тоне, — спрашивает, почему
у меня кабинета памяти. Опять, говорит, стервец, нале-
во ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахма-
ты, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает,
часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит,
фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не
просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите
же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет!
Замолвите, а?

— Х-хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. —
Я попробую. Только как же это он... машину?

— С менеджером могу поговорить я, — сказал До-
марощинер. — Мы вместе служили, я был капитаном,
а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор привет-
ствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа
на весу стакан с кефиром. — В больших чистых озерах.
Они там лежат, поняли? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, —
сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, подно-
ся стакан к губам. — Но и воду из этих озер пить
нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал
Домарощинер. — Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза
рукавом.

— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Ту-
зик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может
быть, чтобы они просто лежали, и все.

Возможно, они живут под водой и выплывают на
поверхность, как мы выходим на балкон из прокурен-
ных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подстав-
ляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать.
Просто лежать, и все. Отдыхать. И лениво переговарива-
ться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматри-
вая Домарощинера в упор. — Ты в лесу-то когда-ни-
будь был? Не было ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в ва-
шем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес.
А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка
мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик,
обращаясь к Перецу. — Но я в них вполне верю.
Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот
рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот
лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он
и погиб там, в этом лесу.

— Если бы погиб, — сказал Домарощинер значи-
тельно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертоле-
те, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете
траурное извещение было, поминки были, чего тебе
еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарощи-
нер, — чтобы утверждать что-либо со всей категорич-
ностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку
кефира. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца
и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было
закрытое распоряжение... Я считаю себя вправе ин-
формировать вас, потому что вы — человек посторон-
ний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым, — гулко прошептал Домаро-
щинер и отодвинулся. — Хороший, свежий кефир се-
годня, — произнес он громко.

В столовой подняли шум. Те, кто уже позавтракал,
вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко
разговаривая, закуривали и бросали спички на пол.
Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил
мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же види-
те, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал
ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не
даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень
любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему
просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что
ему от этого? Какие уж тут шутики.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше
ничего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже
уехать.

— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три
строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специаль-
ный автобус дадут, шофера среди ночи поднимут,
вещичек собрать не успеете... Ребята у нас как дела-
ют? Первый строгач — и понижают его в должности.
Второй строгач — посылают в лес, грехи замалывать.
А третий строгач — с приветом, до свидания. Если,
скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам
вот этому по морде. — Он показал на Домарощинера. —
Сразу мне снимают наградные и переводят меня на
дерьмовоз. Тогда я что? Выпиваю еще полбанки
и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня
снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию
ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не
еду, а выпиваю еще полбанки и даю ему по морде
в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиган-
ские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-
первых, между действиями должно пройти не менее
месяца, иначе все проступки будут рассматриваться
как один, и нарушителя просто поместят в карцер, не
давая никакого хода его делу внутри самого Управ-
ления. Во-вторых, после второго проступка виновного
отправляют в лес немедленно в сопровождении ох-
ранника, так что он будет лишен возможности произ-
вести третий проступок по своему усмотрению. Вы его
не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбира-
ется.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крикнул.

— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй,
действительно... того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж... — грустно сказал Перец. — Все
равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по
физиономии.

— Так ведь необязательно же по этой... по мор-
де, — сказал Тузик. — Можно, например, и по этой... по
заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею, — сказал Перец.

— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда,
пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра
утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там
в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра с утра на Материк ехать, желез-
ный дом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что
наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным, — ска-
зал Домарощинер. — Не понимаю я, Перец, почему это
вы хотите отсюда уехать? Никто не хочет уехать, а вы
хотите.

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда
делаю наоборот. И потом, почему это обязательно
человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим, — заявил Ту-
зик, нюхая сустав указательного пальца. — Скажешь,
нет?

— Я не пью, — сказал Домарощинер. — И не пью
я по очень простой и каждому ясной причине: у меня
большая печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врохаетесь где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезу не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выплывают, она тонет, а они еще...

Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарощинер, — мы двинем туда на ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящие, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задрезались стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «Вставай, выходи!» Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора.

— Пора, — согласился Тузик. — Самое время. Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Развезаются подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: поставьте диван...

— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине.

— А-а... Ну приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «Что нас губит» и «Только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестнице без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «Помой руки перед работой!». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перцу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери и кафельной стены, и полстол занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть... — сказал Перец растерянно.

— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умывальники. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, — сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремневые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли

скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешенное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальницами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще не достроенной, но уже очень высокой, которая воздвигалась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление.

«Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная, немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачное здание занимается его судьбой...»

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

Зеленые горячие болота, нервные, пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под лунной своей таинственной деятельностью в глубинах, острые, непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю, — сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возмемься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться? Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать снова ему стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси, — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло, как обычно.

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.

— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десяти ноль семь...

— Сейчас, — сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мой! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение нека-

лифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт-те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, тот по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мсье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный, целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напаленное обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос.

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам тезисы дам, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... Или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хейана» на материале «Макура-но сиси», — сказал Перец. — Боюсь, что...

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, что вы можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножь на четыреста тридцать два...

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить с вами чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...

Снаружи за недостроенной стеной тяжело бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был

в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, а Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору, мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким, — сказал он. — Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян. — Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк.

— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый последний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбородной шее, в самой ямочке под затылком короткий розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злобостью. — А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый наираспоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перцу букетик ядовито-зеленых лесных цветов. — А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты! — прикрикнул Ким. — Стой спокойно! Маньяк, шляпай!

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпай. Но! В самый наираспоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все, — сказал Ким. — Убирайся. — Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь знаешь, у нас Рита начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с нами, что ли...

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перцу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну, ладно, ну, что поделаешь... А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем здесь Перец?

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся работать и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Все, — торопливо сказал Стоян. — Все. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в двери: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел все осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта... Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень смело... А может, действительно послать тебя туда — разобраться?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАНДИД

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет, — ответил он.

— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю, — сказал он. — Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог...

Он открыл глаза и установился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево с грибочком, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже думал тоже когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не спрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес и никому не даю заговаривать со мной, это очень важно: никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, заунуть голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит...

— ...и получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибочка напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержанье произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего... Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбился все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть...

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрерывно двигались ее губы, да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлопанием понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обоим губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много, и на дрессировку, и просто выкупаться, в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу

спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно, не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержанья, и все везли на Глиняную поляну, теперь тоже везят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они и не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю: как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут... Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы полизить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает, на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожает? Сколько с Молчуном живешь, а не рожает. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит — нежелательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит — поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательно...

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, поспел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзал, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже заиск. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой топили дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скудных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

«Опять, — подумал Кандид, — опять все сначала».

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдем, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудачки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют и заго-

варивать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за этой чудаконной деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойно дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещаешь показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню... Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудаконную деревню, а там по правую руку будет Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут же поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнцу, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдём. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо, ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с тобой брать не надо, раз там Хлебная лужа... Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдём. Завтра утром и пойдём...

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. — Колченог внимательно слушал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники («Только бы не сбиться», — подумал он. — Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники»). Город, а не Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдём до Города вместе. Не до Тростников пойдём вместе, а до Города пойдём вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать большое колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло и теперь кривая. Почему кривая — никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдём в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже нету. Дупло то пощем, а?

— Сейчас он меня собьет, — подумал Кандид. Он наклонился на бок и подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки... Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдём до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаконных горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудики живут. Да. Можно было бы завтра и выйти... Да... Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдём. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибочки сюда занесешь. Пойдём мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображаю,

у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отбьешься...

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь. Как мы с тобой идти будем, вот я чего боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь... Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или же просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать...

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдём, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберет. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберет. Шел он с нею на Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не пошел, конечно, а шестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовые горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомним.

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Наву твоя, детей вот только у нее нет, ну, да еще будут, молодая она у тебя...

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закатился. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хотя у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен...

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином... Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле...» Кандид шел быстро, насколько позволяла темная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом нос к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Наву твоей дома нету, Наву твоя на поле, вот этими глазами видел, как Наву на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Наву, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, нигде не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать...

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним нос к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побыю и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал на площади траву побить, потому что скоро будет тут собрание, на

площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Наву твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно... А можно ведь...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так, что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые... отодвигаются все дальше и дальше на юг... победного передвижения... Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких... Новые приемы заблачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... Во всех поселениях... большие победы... труд и усилия... новые отряды подруг... завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и развешивал азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже... Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя... Спокойствие и слияние — понимать же надо... И у нас, значит, тоже, раз во всех... И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустил на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там Одержение? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь полагаю, за своей Навой идешь, а Наву твоя...

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запылился и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле севали. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толкались и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стояла староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятель. Они уже больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не хочет, а сам я на это уже глядеть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то, в Тростниках, нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вот стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу... Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще нету, а врет о нем этот старый пень, придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: это нельзя, то нельзя... Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет...

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозмож-



но, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал и до сих пор не ждет... Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

«Мертвяки! Мертвяки!» — заорал староста. — Женщины, домой! Домой бегите!» Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетями висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза...» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» — связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да нет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Дранные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загудело и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятнулись. «Ну все, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь...» — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе видно что-то не было. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели... Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не дева, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержанье... А кто его, Одержанье, видел? Слухач пьяных жуков наглоплетается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет...

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напони ему про послезавтра. Я напонила и еще напоминать буду, но и ты тоже напони, а то еще убредет куда-нибудь...

— Напонию, — пообещал Кулак. — Я ему так напонию, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но

не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возмущенных детишек, чтобы не возмущались. Некоторые, устроившись особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призвал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это из-за того, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит...

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услышав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрание собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. — Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. — Вот это и есть наше общее «нельзя». — Он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись... А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим... Кто там с ним рядом сидит, придержите его хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, то пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщины, и потому невесту надо брать к себе: Болтун хоть он и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уж сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда на чудачковой деревне полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудачковой деревней все не как у людей, и чудачкова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то вора отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целых Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Раз Молчун в Город идет, значит, Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние? Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет... Так и Одержания же уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь: «Одержания?! А мертвяки почему? Про мертвяков молчите? Потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержания!..»

Покричали про мертвяков, потом про гнилые деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще

некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда поднялся взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданным Выселки не постоят, сами увидите... Начинать спор снова ни у кого не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь... Не пойдешь — так и скажи, я один пойду. Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Послезавтра выйдем, — сказал Кандид. — Пищу ты приготовил?

— Я пищу уже приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостылю, если скоро не уйду... Как ты думаешь; Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех ест и где он живет? Я человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его поэтому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влезит? Ведь кожа да кости, у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, и горшки никогда обратно не возвращает... Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается... Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как озеро в Тростниках приманивает рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтра новые запасы, а старика беспощадно гнать, он, наконец, удалился. Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки... И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много... занятно... На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид... завтра с утра на Выселки... парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города и не дойти... Он не заметил, что вошел в дом. Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто... Потому у вас, наверно, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедают пора... Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя к обеду не дожидаться? До Города, говорят, очень-очень далеко, я теперь про тебя все знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой день добираться и добираться не можешь... Придет-ся мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте, — сказал он вслед Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»...

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. «И все-таки послезавтра я ухажу, — подумал он. — Послезавтра, послезавтра».

Продолжение следует.

некая стыдливость, которая понуждает издателей даже в проспектах называть эту работу Ключевского не по имени, а неким «немым» термином — «магистерская диссертация». В свое время упоминать ее и печатать запрещал святейший синод... Сила инерции, давление прошлого объясняют множество неслучайностей наших дней; к сожалению, только объясняют.

Думаю, сегодня нас подстерегает опасность и другой крайности. Особый общественный интерес к 20—30-м годам оставляет в тени назревший пересмотр позиций и по древнейшей нашей истории, а это могут использовать как удобный случай, чтобы снова зашторить окошко в давнее наше прошлое. Не уверен, что не куется уже новый несокрушимый издательский аргумент, весьма, впрочем, сродный прежнему: «Людей, понимаете, интересует вчерашняя, горячая наша история, а вы предлагаете им XII век!» Уход от жгучих, так сказать...

KOPP. Не исключено. Но правда и то, что вчерашний день, он еще тепленький, дышит в спину — как тут не оглянуться. Готовясь к беседе, я собрал некоторые наблюдения, имеющие, пожалуй, отношение к теме нашего разговора.

В двухтомной «Краткой истории СССР», изданной в 1983 году, Куликовская битва «поместилась» в одиннадцать строк. Ровно столько отдало в этом труде боям за «Малую землю», «где начальником политотдела 18-й армии был полковник Л. И. Брежнев». Кстати, не считая Суворова и Кутузова, упомянутых соответственно на шести и четырех страницах, он «перевесил» и преобразователя России — о Петре I говорится здесь на пятнадцати страницах, в то время как о Брежневе — на восемнадцати.

Вопроса по этому поводу я, конечно, не задаю — он запоздал: этот персонаж нашей истории лишен того, что им, мягко говоря, не заслужено. Но говорю только потому, что и сегодня мы продолжаем пользоваться учебниками, составленными по таким сомнительным пропорциональным законам. Ведь что получается: мы смело ломаем устаревшие экономические структуры, а в деле воспитания топчемся на одном месте. Мне кажется, пришло время сказать здесь свое слово историкам, которые понимают, что историческая наука, а следовательно, и педагогика пора обрести более широкий нравственный критерий, в известные годы ею утерянный. Больные вопросы исторического образования заключаются не только в малом количестве часов, ему отведенных, но в значительной степени и в самом качестве учебников, написанных учеными мужами, похоже, с оглядкой на того самого «гвардейского штаб-ротмистра». Что вы думаете по этому поводу?

ЯНИН. Есть такая вредная вещь, которая называется «учебник». Существование учебника, особенно для вузов, это артефакт. Во всем мире, в том числе и в дореволюционной России, учебников истории для высшей школы не существовало. Были курсы: курс Ключевского, Платонова, курс Павлова-Сильванского и т. д. Ученые читали свои курсы, потом их издавали. Такого безобразия, которое называется сейчас учебником и который пишут несколько авторов, по программе закладывая туда некую официальную точку зрения, воспринимающуюся как установка, — такого никогда не было.

Любое историческое сочинение может быть только авторским сочинением, отражая опыт того, кто пишет. При чем его понимание проблемы может разойтись с пониманием проблемы другим автором, а соревнование курсов — великое благо. Ведь сегодня с самых высоких трибун нам говорят, что нет истины в последней инстанции, но опровер-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕЦ

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек.

— Да это же комендант, — с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте. — Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были свободны.

— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье на вашей койке надо менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задержится, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку.

— Белье, говорят...

— Да что же это, — проговорил Перец. — Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи, — сказал Перец. — Вы не в своем уме. Ну, хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо... — Голос его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше невыносимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Перец бросился в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перцу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже, как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу... — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца.

— Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, — бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывая в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно, я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.



— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Перец собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной, тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывает сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать!» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень прошу... Жена... без никаких эксцессов... Последствия... Нельзя...» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная. И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня... мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную палку с доносами. Десяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и один бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел, куда глаза глядят. Глаза нигде не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых, темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие, сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что такое нужен? Это когда всю жизнь стремишься к... Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, не могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это сил и времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заматались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами — верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загнать тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и, главное, простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешаны тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет разохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и, кроме Переца и книг, в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько понял? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читает, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж и обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличен к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честности, ни доброты не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжиг, но зато какой администратор! Убийца, зато дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех в людей добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населить землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тпился построить стадион или санаторий, у него все выходило бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки... Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому, что лгут. Иногда

лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеноя и оправдываясь, но — лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотек, не было еще в истории человечества случая, чтобы лож предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или проверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... То есть не поэтому, а потому, что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот, я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...
— Чем спать, лучше бы выпил.
— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!
— А что нам Перец, ты знай не падай...
— Неужоженный какой-то, жалкий...
— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лешенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолaborатории, а внизу шофер Тузик держал лешенку татуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, глядя на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву! — сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не видел?

— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает: двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей снизу ступеньке лестницы лежали ломти здоровогоного штрцеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояли полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотришь, смотри, а лешенку держи хорошенько, — сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдвигала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сейчас Переца разбужу.

— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина.

— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщина, и вино, и фрукты.

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху.

Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же? — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек... — Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурцом. — А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно и сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого дома, и там, в темном парадном, прижал к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего не упускаю и сейчас не упусти. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебрал несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. «Завтра в это время меня уже здесь не будет, — думал он. — Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попугайчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду спрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду».

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтиныны ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!...»). Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что все равно сожгут). Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убежать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя, и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, морщилась, листала такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей, — она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятельских любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что я никакой не развратник, — заключил он. — Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — спросила она. — Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке...

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой... Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра.

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдемте все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Проспать боюсь. Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывает? — спросила она.

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... и за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя... Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. — А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично... Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через хляпавшего на вытасненном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, распотырившись, покачивался Микки-Маус. «Хорошо, — подумал Перец, — уютно. Надо было сразу сюда идти». Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздвинулась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешают болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охлажденной сексуальности...

Перец лег, скорчившись, и подsunул под голову сомканный плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!» — а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перцу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадает под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его открытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врывается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. «Побриться бы надо», — подумал он, но не вышел из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услышал, как он распоряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». «А он где?» — спросил незнакомого механика. «...! — спокойно сказал менеджер. — Под сиденьем посмотри». «Откуда же мне знать?» — раздраженно сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант...» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась, и появилось хмурое, расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а затем запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если это повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — сказал он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала». — и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то зади звакло железо и бранились. Потом грузовик стал покряхтывать и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покаты по главной улице Управления и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось по бетонному полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы...

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заела, дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе заело...

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто прижавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас быстро... А потом мы с вами шахматки расставим. Как вы полагаете?

— В шахматки? — сказал Перец. — А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так... — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал... — Он открыл дверцу и прыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть? — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как заело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел его в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец. В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плывал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер, бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался по орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами, — решил, наконец, менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефира и съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отработывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жесткой заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполом голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение Директора к сотрудникам». Менеджер стал

очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. «Нельзя же так, — подумал Перец, — нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю что к чему и поэтому всегда оказываюсь лишним».

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздадут, а он, как всегда, останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от застывшего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услышал за спиной револьверный выстрел, прыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась.

Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарошчинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует, и смысла поступков не существует. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...»

Снова шорох и потрескивания. «...противостоим миллионам лошадиных сил десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаружилось по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался любимейшим нашим другом. Оно совершенно неспособно создавать, не разрушая авторитета и неблагодарности...» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «... оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы в конце концов тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то должен раздражать и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...»

В трубке послышался звук, как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарошчинер смотрит на него строгими, обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарошчинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это не моя. А где тогда моя?

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца доносилось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Переч. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывшие в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянувшийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Переч попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда все остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразия! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Переч. — Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Переч, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Переч. — Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?
— А ничего не слышно, чего слушать-то?
— Почему не слышно?
— А мы провода перерезали.

Переч скоканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но в конце концов я просто читал в одной книге. А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток...» — «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохочет эта баба. Слышите? И вот так всю ночь...» — «Здравствуй, Переч! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» — «Нашли наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично...» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до полочки, до завтра то есть...» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Переч спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, покойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Переч снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать.

Тут Переч заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Переч вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо бы на работу вовремя приходить.

— Я же не знал, — сказал Переч. — Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват, — сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь, — сказал Переч. — Ты знаешь, — продолжал он, — иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот сейчас я пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рождает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода и рождать... Да, Перчик, тебе женская трубка попала. Так что я даже не знаю, чем

тебе помочь... Попробуй вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадают, слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Переч. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Переч. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?... Ну... о чем? Ну что он сказал?

— Кому?

— Кому? Ну тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внешний сотрудник. Так что ты не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Переч. — Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камушки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Переч рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель... И потом он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоём месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься в последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я тебе устрою свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Переч представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он: Стивенсон-заде...

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Переч вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хотя бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал...

Ким жалчно засмеялся.

— Откуда же шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорил, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну, естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что

у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Переч вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты сам услышишь — я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустил тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Переч. — Одинаковые, Перчик, — сказал Ким.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Переч.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Переч рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил телефонную трубку, бешено набрал номер и рявкнул:

— Командант? Что это значит, командант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чаты! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца? Что? Ма-ал-чаты! Вы не смее! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чаты! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в поездке, в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белое самое лучшее... Это уж ваше дело. Хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну, естественно... Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Переч, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, шуря от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой руке прифронтанный вор-дискбол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «Девочки, бойтесь сифилиса».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАНДИД

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в гольях проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней было безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой, пахучей воды торчали сгнившие, черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые, раздавленные дома водяных жуков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головами свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимают их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому, что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся... Просто я честно тебе скажу: я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать... Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет...

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, что я ухажу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома...

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет...

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцениться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопившиеся за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал...

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать, может, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь... Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекопился, поломал винты и камнем рухнул в болота... Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился... а если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило... Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра...

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, а мамы уж больше мне видеть не привелось...

— Нава, — сказал Кандид. — Опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи мне, как мы с тобой рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел...

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться и нечего было запомнить. Потом тропка круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жара траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые, пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и, что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. Кулак все грозит, но он тоже не умеет, только руками размахивает... И на Выселках

так тоже не умеют... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся... И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной... В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки.

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаясь, поворачивают от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги, ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Кандид. — Иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву приставать... Как же я пойду, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кандид. — Вранье это все...

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и, что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом, и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку... Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она. — Я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были вору.

— Ну так что же вы встали? — глубоко раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не сделаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора все бы и не было, приняла бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор... Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же вору...

Вору засмеялись без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет, — сказал вожак, — обоим нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подружка славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать?

Вожак удивился. — Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, придет время, станет женщиной, не славной там какой-нибудь подружкой, а женщиной...

— Это он все врет, — сказала Нава. — Ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорей, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее никто и не

видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подружкой стану... Смотри, какие они все дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего...

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас обоих.

Вору не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядываясь, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак. Все семеро, толкаясь и осклизываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пят, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевая друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседавал, крикая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся... Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое...

Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Вору кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукнул и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревню, а еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

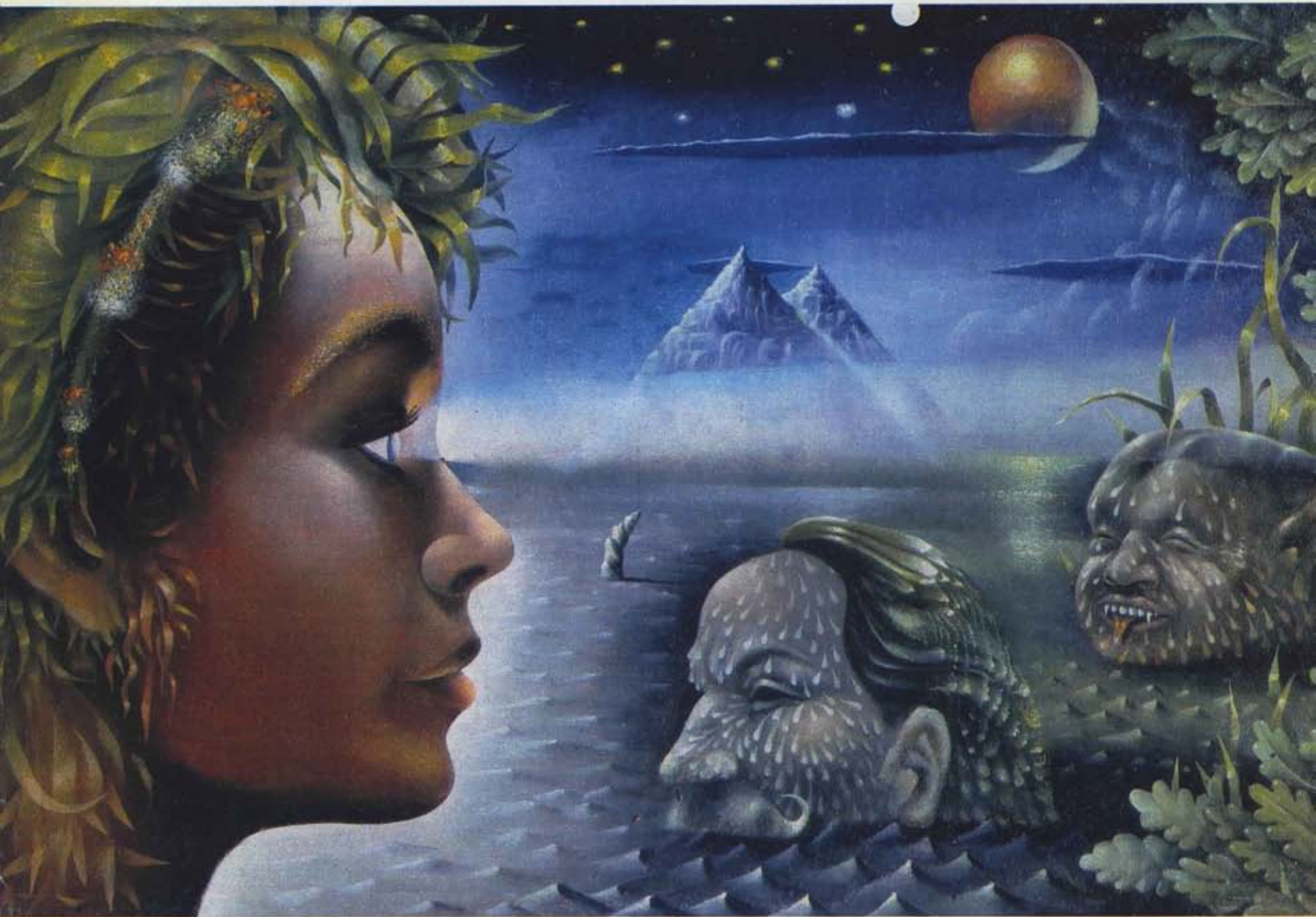
Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. — Ты там держись, ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалив всех троих, и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунул бородастым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую, черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса. «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девочку, пропадет девчонка теперь...» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал...» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле, догонять нужно, а не разговоры разго-



варивать... Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся...» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет... Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, оцупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кандид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать... Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она. — Чего ты стоишь? Пошли скорей... Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их... раз... два... три... четыре...

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть...

— Тогда иди впереди, — сказал Кандид. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех, как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего... Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда у Кулака воры жену увели, Колченогову

дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпались мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть... — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название Колченог мне говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдали... А ты, когда бежишь, ты ртом дышишь, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробежали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержанье, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай... отдохнем... — просипел Кандид. — Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь

нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо.

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотопал до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услышал он словно сквозь вату голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что бы там они ни ввали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он не забывал никогда, даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо... Тяжелая...

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости, — вору тоже было тяжело.

— Пошли дальше, — сказал Кандид. Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

Продолжение следует.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом он, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясин идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Вору что-то кричали в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. Вору по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пива, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова — понять было трудно.

— Назад! — кричали они, кажется. — Назад!.. Не тронем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал Кандид со злорадством. Сами вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить... Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за ней.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-и!.. — ревел вожак. Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пива и клещей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец явился в приемную директора точно в десять утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскульем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка «Не курить, не сорить, не шуметь», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с поднятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «Выход», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «Выхода нет». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрожающее предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскулью.

Моншер Брандскуль поправил отклеивающийся левый ус и задумчивым голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дога, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскуль молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными

крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жестокости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю, — сказал Брандскуль, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнее на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «Выхода нет». Несколько секунд в приемной стояла тишина, болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь; мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркала и золоченых пуговиц... Кино им неинтересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихикания... Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскуль.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала: — Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернувшись, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?», огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!», а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перцем оказалась коричневая папка, Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за ней. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания: все смотрели на желтую дверь.

«Что же я ему скажу? — подумал Перец. — Скажу,



Рисунки Олега ТУРКОВА

что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово». А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру Брандскулью, — который час?

Моншер Брандскуль посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскуль колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной.

Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша, — ваша очередь.

— Рассуждает... — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать... — громко сказали слева. — Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, возвысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — сорите вы, там... да, да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?
— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы поняли бы, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не человека-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютной статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелку времени, как сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо. Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двойного толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены...

Мсье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили, — произнес он новым, каким-то казенным голосом. — Ваше имя?

— Что?
— Имя. Ваше имя.
— Перец.
— Год рождения?
— Тридцатый...
— Точнее!
— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.
— Что вы здесь делаете?
— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перцу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.
— Ваше мнение о лесе. Кратко.
— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.
— Ваше мнение об Управлении?
— Тут много хороших людей, но...
— Достаточно.

Директор подошел к Перцу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих! Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную квартиру!» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандсбургеля, моншера моего, — продолжал он, прижимая Перца к груди. — Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь...

— Ну чего там — ты?
— Я, мсье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мсье? Камад — понял? Генацвали!

— Я, камад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею. Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Перца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перцем низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мсье Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша здесь была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут профессор Какаду, тяжело страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой палкой на коленях. Правда, все прочие посетители были неизвестны, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «Тихо!» Поэтому здесь

никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса Вах улыбнулась ему несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган, и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади...

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно сказал Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками...

Секретарша отложила «Сублимацию гениальности» и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса Вах испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец, здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да...

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но...

— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый человек. — Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «Выход», а вы куда?

Твердые руки направили Перца к надписи «Выход». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!»

Опять не то...

Перец, скользая по паркету, пересек зал. Запах кондитерской. Небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. — Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает... Работайте, не обращайтесь внимания.

— Да я не остро, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет...

— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет, — сказал пронзительный старик. — Это все тот же. Он просто программу переключил. Не обращайтесь на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите, — сказал голос.

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандсбургель, загорюлившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перцу свежее лицо спортсмена.

— Да-да... Я... — промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуй. Моя фамилия Ахти. Много о вас слышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мсье Перец, относитесь к голубям?

Перец замаялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мсье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И вот на лице мсье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо, — сказал мсье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестествен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодет, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением. Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которых я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу, — сказал он.

— Сейчас привыкните, — пообещал голос. — Ну идите же, что вы встали?

Перца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь, — сказал голос.

В пальцах Перца оказался карандаш.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, повели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо, — раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа, Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрыв глаза, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посреди двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перцу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланило, засмеялось, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Вся группа Научной охраны была здесь, в кузове. Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и, хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...

Сотрудники, сбившись в кузове, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предполагает...

— Кто бы говорил, но не Домарощинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалованье получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял, — сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Перца бумаг нет!

— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего у меня нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласти его у самого горизонта, на его застывшее грозное кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то.

— Ну, в конце концов на дороге никаких объектов нет...

— А Домарощинер?

— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает.

А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропуске пункта, так он там до сих пор сидит. Анкеты заполняет...

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Перца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарощинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, б — наземным транспортом, в — воздушным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позавчера вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздаётся какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу — стенка одного ящика, огромного, с хорошим дом, выдвигается и распахивается как ворота. И из ящика вылезает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище... Поставил он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся и снова в ящик заполз и крышечка закрылась. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: дай все-таки посмотрю. Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями изнутри приколочена! А наружу торчат острия, блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот так... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят когда-нибудь варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину видел, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со лба пот. — И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдален-

ные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно.

— Точнее!

— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой... А теперь прошу вас.

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте девяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Переменяющаяся хромота, — сказал Перец.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк, — сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас может быть не болезнь ног.

А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист, — сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председателствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издадека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председателствующему. — Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых.

А во-вторых, и в главных — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех этих вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотеть знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные расписные и закусочные! Лестницы в небо!

Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье. Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Неинтересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме как математикой, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливать по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напишешь. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной расписной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумал боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то вообще с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает только через десять лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернусь к нам черное лицо досуга...

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожар-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!..

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!». Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изолятора, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитами к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ». Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собой, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас, — сказал он сипло. — За деньгами?

— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал он с упреком. — А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунул в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Вы будете старший? Сколько везешь?.. Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово, Вольдемар! Все едешь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение, а то я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже запишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешенные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоподобно все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть,

просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносило назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю трактора, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился лес, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать и от него мутило.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени...

— Ох и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик Перцу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ладьями хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин... Внимательный мужжик.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Перца. — Что, деньги привезли?

— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перцу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчину, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, было невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клоачущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, пухнувшей пузырями примитивной плотью, хлопотливо организуемой и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клеклой пеной... И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клекотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клеястера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши...

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в покойницкой...

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет

пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад...

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких, подвигных ноздрей...

Вокруг клоаки, забитой склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обглаживала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать свою плотью все, что окружало ее...

— Перчик, — сказал Стоян. — Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти зади. Если завязнем, Тузик сматается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете, — сказал Квентин.

— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое... Скоро выход? — спросил он у Квентина. Квентин посмотрел на часы.

— Так... — сказал он. — Она ценится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось... осталось... да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплюсцивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизеподобные муравьи...

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врыхаемся, что никакой тягач не вытащит — все трюсы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим...

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой, — сказала Рита.

— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим, посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурки и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перцу тихонько:

— Разрешите мне... пробраться...

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перцу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл крутило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расплзлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появился.

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом.

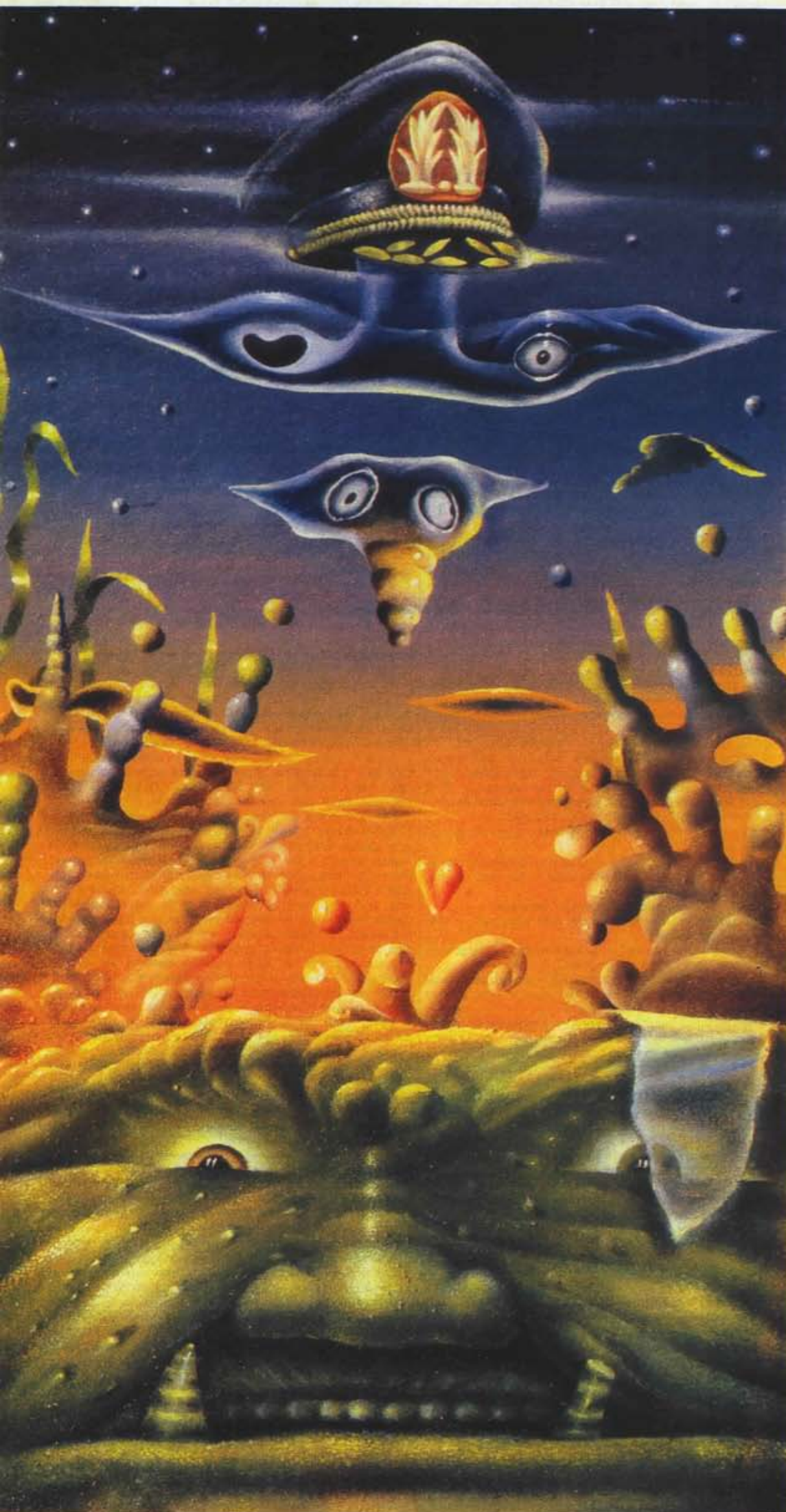
— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь.

— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону, — сказал он Перцу. — Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тархтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был... Так я пойду, — сказал он Стояну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.



чистоплюев, подозревая в них (не без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоял живёт в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецработки... Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости... Вот Квентин, по слухам, живёт здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему... Вот я и до Риты дошел... Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все порядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим... На биостанции все известно... Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще...

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь я знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время...

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоял сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиоло, бессмысленная болтовня, кефир, и еще может быть по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров...

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на гнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь — сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Послушайте...

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь... Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду...

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать...

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все остальные люди... Ким, грузовик... Ведь меня обещали отвезти... на Материк...

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места, — сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассира руки, накинута на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем

охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попытался и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бесмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через дверь, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю — видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали, страшно и протяжно. Где-то хлопала дверь. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец, надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон...

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услышал, как охранник бормочет: «На вот, на... Да ты не жри, дура, ты нюхай... Это же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо... Ну? Шерше, говорят тебе...» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой. — Тебе только блох искать... Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблучки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перцу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжело вздохнул и положил тяжелую голову Перцу на колени. Перец поглядел его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиоло. Волкодав молча шархнулся и ускорился прочь.

Радиоло неистовствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиоло. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепая на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигарету, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиоло вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КАНДИД

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловане, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная — обширная глиняная проплешина без единого куста, без единой травин-

ки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут... А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятшек, хотя ребятшки, может быть, уже спать легли... И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится...

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и не покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть чего-нибудь. И ночь наступает. ...Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем.

— Не пойдем, не пойдем, — сказала Нава. — А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела... И воры твои эти... От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой спустимся, поведем, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя... Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы молодцы, хорошо сделали... Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось... А работать нужно... очень нужно. Работать... очень...

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас... — человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда раньше их не слышал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик... — И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом сказала Нава. — У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она потащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понохала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь. А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слышала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который

лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестящими.

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Нава.

— Как же спит, — сказала Нава, — когда он спит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскатысто бурчало в животах, они не просыпались, но почти каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он почувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал Кандид. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю, не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим...

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услышал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь... ну, всего одну ночь... и дорогу спросить... днем-то они не спят... в крайнем случае — на болото, воры ушли... а если и не ушли... как там ребята на Выселках? Неужели опять послезавтра? Нет уж, завтра... завтра...

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители, им просто незачем так стоять, и как любил стоять у окна лаборант во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этинггоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этинггоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и был отдан в приказе как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулаясь, и когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем не настоящими, а наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Он тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота.

Продолжение следует.

«Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!..» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так, что зазвенело в ушах, так, что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть, потому, что больше кричать было негде. «Где Навя? — закричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит, и ощущая страшное желание узнать, что же с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная, нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полусловечко слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно пригласившая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас...» — и еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелилось, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решился пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попытался, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких, подгибающихся ногах, только не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, удравшись о дерево. Навя вскрикнула, он опустил ее на землю. Под ногами была трава. Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Навя. — Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, протискиваясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Навя сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала раньше такую речь. Это ты сам так говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может быть, ты из этой деревни родом? Ты ведь очень большой был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул. Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказе Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на материк. Но он подумал, что это ему снится.



Когда он открыл глаза, Навя еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в гребень левой руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, созная вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель со своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила: — Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала, наконец, Навя шепотом. — Какая страшная вещь... Или это, может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все такое сухое — может быть, оно здесь выросло?

— А почему страшная? — спросил Кандид. — Еще бы не страшная, — сказала Навя. — Ты возьми его в руки... Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страшная... Я сама не знаю, почему страшная...

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодный, и осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала, — сказала Навя. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный... А может быть, мы еще спим с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я мальчик... А мы искали, где поспать. Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он залез мне в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем тогда его не боялась. Даже наоборот... Он мне даже был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Навя, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Навя. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает... Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее... Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, и Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую грудку ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее... а пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходиться не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай крошечку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я — нет.

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутником на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не доберемся нам до нее через трясину-то, вот беда... Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться...

— Придется все-таки вернуться, Навя, — сказал он, когда они поели.



— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это, что с тобой никогда не договоришься по-человечески... И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводисти разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в Город?..

— Почему в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я больше.

— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась...

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой и странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю, почему.

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и забытый, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало...

Плавное прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой пронесся словно легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид посмотрел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называется Одержанье, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жил в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает... Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машина в лабиринте... Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается... а потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы — и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу...

— Вот она, твоя тропка, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно... Ничего, пусть посердится. Пока сердится, молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропкам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Страшная какая-то тропка, словно она не протоптана, а выкопана...

Тропа вначале шла по удобному сухим местам, но спустя некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли мха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям и скорее даже не мыслям, а представлениям.

...Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой... Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется...

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил неспорно, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали...

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь, ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки

хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену... Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали... Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет... а тот знай все твердит: почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у Верхних Одержанье произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает, а почему же у нас Одержанье не происходит так долго? Да что тебе это Одержанье, спрашивает Кулак, что ты без него соскучился? Не отстань Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко, на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали... И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал и говорит: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает, почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.

— ...Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел, да подбирал все, что из тебя вываливалось... Много чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как... так он эту одежду разрезал и рассадил, думал вырастет. Но ничего у него не выросло, не возшло даже, и опять он стал ходить по деревням и спрашивать: почему, если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не возшла... Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили: и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли. Тогда меня к тебе приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — розовое, без мха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда...

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это... Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь нигде. Давай на обочину станем и посмотрим... Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чувствуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродило — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью... Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи,— сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амёб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизи были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой. Довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них. Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизне-амёбы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, будто люди идут по тропинке... И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержанье произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи,— сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их; и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы или залетит безмозглая бабочка. Или муха будет биться в стекло. А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда они бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами... Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и... как это сказать... жалостно... жалко... Как будет правильно...

— Скоро будет озеро,— сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось это, уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции...

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону. «Не пойдем туда», — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу». Тропа становилась все уже, потом превратилась в рывтину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун,— сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды...

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь...

— Вода есть,— неохотно сказала Нава, — но теплая. Плохая вода. Нечистая... Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слышать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгну. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгну и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина голодной деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинки, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобная. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерь хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр... Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно.

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели,— сказала она,

наконец.— Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне может быть, тоже привиделось...

— Пойдем посмотрим,— сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, как на пляже. Кандид передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники,— сказала Нава. — Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились... Очень это страшно, Молчун,— сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется... А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Теперь вверх? — спросила Нава.

— Да,— сказал Кандид. — Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины,— сказала Нава. — Ты заметил?

— Да,— сказал Кандид.

— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может быть... Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят... Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю,— сказал Кандид.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАНДИД

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполнинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амёб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизи оставались на вершине, но зато вместо них по склонам осыпались самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие руюеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие, не то звери, не то насекомые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то необычайной энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбежали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. И лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

...Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они

и называют Городом. Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность... Я ждал чего-нибудь в этом роде... Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно неспособен их связать... Из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности... Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогил вернуться домой. Чтобы мне помогил преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти... У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился: получалось вполне связано. Начнем с самого начала. Все продумаем — спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне.

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затыл и некоторое время лежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

...Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то. Высокая температура... Да нет, ерунда... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; поспозавтра мы уходим» — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю... Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержанье, про мертвяков, Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками... Оказывается, все это обман, все опять перевернули, никому нельзя верить... Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об Управлении. Даже Колченог знает, даже Колченог все время болтал о Чертовых Скалах и о летающих деревьях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах — они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать... Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома. Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон, только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию... Биостанцию?.. Би-о-стан-цию. Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кустики засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибов, Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы, значит, все это вранье, значит, ничего-ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел...

Сбоку раздался знакомый устрашающий хрип. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался хрип, треснули деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи режут, глупо, нелепо. Мухи режут. Осы режут...

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет... Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама!.. — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел.

Трое, подумал он. Трое... Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я! Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха? Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно птаться? Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры... Толстые, сонные, равнодушные дуры... И Нава... А какое мне дело до них, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно... А я должен остановиться. Неправедливо. Но я должен остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и продолжал птаться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще птаться, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холмы. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано; и из-под ног их поднимались столбы пара.

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки, бегите, я задержу...

Они не обратили на него внимания. Не то, чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, но он ничего не значил для них, словно был большим припадочным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бегите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-ай-ай, — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку. — И я бы нет. Милая моя, — сказала она Навиной матери, — и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и облизывал пótом?

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки... А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. — Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные...

— Ничего, — сразу сказала беременная женщина. — Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем... Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот, — сказала беременная женщина. — Плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт...

— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек, — сказала беременная женщина девушке. — Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно...

— Разве мы острым? — удивилась беременная женщина. — Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя зубами. — Расскажи еще что-нибудь...

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что Навина мать задета и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь, — она хлопала себя ладонью по животу, — родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава. — Сама на себя посмотри, на что похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он как тебя огреет палкой по толстой заднице, чтобы не привязывалась...

Женщины, все три, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава. — Чего они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная женщина — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас...

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина. — Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай, — сказала Нава сейчас же. — Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то лезет как старик, без спросу, без разрешения...

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена! Она мне дочь... — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее очень любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж... это вон ее муж! — Она указала на мать Навы. — Это... ее муж! Ой, не могу!

На лице беременной женщины появилось веселое изумление, и она стала демонстративно-внимательно оглядывать Кандида с головы до ног.

— Ай-яй-яй-яй... — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело наконец! Уходите отсюда, — сказала она Кандиду. — Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная женщина, — что корень любви может оказаться столь горек... столь грязен... волосат... Она перехватила яростный взгляд Навиной матери и махнула на нее рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача...

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы будем заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула и снова улыбнулась Кандиду и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная женщина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями. Как же нам быть?

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. — Скорее бы...

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала глядеть ей в глаза.

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада?

— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела... А это Молчун, мама... — И Нава принялась говорить.

Кандид озираясь, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто знакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Он посмотрел на мокрые волосы женщины. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу... Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет. Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают...

— Козлик, — сказала беременная женщина. — Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е-е!.. А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, — это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадают все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых...

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся, я бы на его месте давно обиделась...

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— ...только очень уж грязненький, — говорила беременная женщина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело валились, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, подталкивала их, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, и она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются... С такими работниками Одержанье не закончишь.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слущака. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева... Он не мог вспомнить. «Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась.

Подойшла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным, уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлинул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «...очевидно, не хватает...

запомни, девочка... слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка... надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» «...холм... сухость и пыль...» — говорила девушка, — ...лес останавливается... этого я еще не знаю... а вы мне рассказывали совсем по-другому...» «...а ты попробуй сама, — говорила мать Навы, — ...это сразу заметно... попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоед в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в колени. Рукоед застрял и вдруг упал, расставив лапы, словно на него уронили двухпудовую гиру. Женщины засмеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекала струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая...»

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, поднимаясь. — Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец.

— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. — Характер у нее есть. Ну что же, надо идти...

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала, что хотела. ...Такая милая, такая нежная, ласковая... Даже пальцем не притронулась... К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо. Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнав их, и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь я это сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это неважно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам... У меня мозг, понятно? — сказал он про себя, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно... Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропка, а густая светлая трава, в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась... Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно сказала:

— Ты чего здесь? В лес иди, в лес... Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать... Нет, не то... Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хозяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожая Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленниками. Они и есть утопленники... Опять все перевернули, все перепутали... Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву

и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция. ...Биостанция. ...Он едва плелся, если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он. Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик... — Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу бовей!

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте... А в общем-то пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно... А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь... Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй... Пусть... Пусть остается...

— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может быть, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая... Наверное, это от жары...

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока ничего еще не понимаешь... Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они ошибка... Да пойдем же! Ну хорошо, потом придем к нему... если захочешь.

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, — что они расстанутся навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нехорошо! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди!.. Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину:

— Что вы с нею делаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже... Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так...

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно... Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не нужны, не нужны, успокойся... Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов...

Она говорила не думая, вернее, она думала о чем-то другом.

— На что же ты еще годеи?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властью, что-то

важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же, равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная женщина. — Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься...

Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козлом.

— Умел когда-то, — повторила она. — Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда убей это дерево... Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделай живое мертвым. Заставь живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю, — сказал Кандид.

— Не понимаешь... Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если даже ты этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес, — сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него.

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно, что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи.

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал... Он замаялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только... Он опять замаялся. Микроскоп... Линзы... Приборы...

Это не переводит. Это не перевести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных...

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина... Постояй, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Можешь, ты говоришь о строителях?

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде... Я искал, как они устроены у вас в лесу, и какие они бывают, и что они могут...

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты... Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда...

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай.

— Нет, погоди... Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным... Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она. — Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов были же удачные случаи... К Воспитательницам, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений — призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрипнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не



было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Тонкая теплая земля разьежалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, протянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распаиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он знал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно от боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибся о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую — он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать на торжественную встречу падишаха без специальной свиты размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил, наконец, знакомую арку с надписью «Добро пожаловать» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то не одетых людей с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу черным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк на его башне открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перцу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висевшей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги должны быть у вас в ручке в развернутом виде, как в музее...

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много... Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно посуровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал старик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял...

Мимо с топотом и криками проволок на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белых, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно! Но к чемодану я больше не прикаснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозничьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматшкх сгоняю партию... Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо... Я — е-4, он — це-6... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Вон, ловят...

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно вращать головами.

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов поставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловит, кто как умеет. Кто себе глаза завязывает, чтобы не увидеть, кто как... А кто поумней, тот просто бегаёт и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой бардак в Управлении? Так это еще

райская тишь, вы посмотрите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придется мощный, чтобы уж наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилося — спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю, — сказал Перец, — как же мы будем ее ловить. Мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место?.. Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.

...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались у нее во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатке. И наконец она решила уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая колечками ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверно, уже стало совершенно ясно все то, о чем она раньше только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...

— А!... — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. Вот она, родимая...

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услышал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурки в пепельницу и приоткрыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головастиков.

— Плыви в гости!

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонившись голову к правому плечу, принялся ципать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — Пока утро наступит, пока тягач доползет...

— Спасибо, — покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет, — сказал Перец, — пожалуйста...

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела

Один брожу безумно и усталю

Скажи, зачем ко мне ты охладела,

Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото, и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

Теперь с другим ты радуешься жизни,

А я один безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись: знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефир выпьем, может быть, в теннис сыграем... а?

— Я не играю в теннис, — сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завопил в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, цара-

пание ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готов, господин Перец. Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

...В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все было в ночном белье и чесали пяттерней волосатые груди, все было пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубашке, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел и иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...», и его с гоготом подсаживали обратно...

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал...

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.

Он улупил с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневнику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в мертвом перекошенном разбитом окне дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнейшей позеленевшей колбасой...

Броневику вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни свечящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надвигаясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчивая!» Броневику снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

Напушу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут... Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах развевались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемежку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все было бы только испуганы и приняли бы уничтожение, как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик как паук бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успев был...

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!», и кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-кой-кам!» И раздалось ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Рисунки Олега ТУРКОВА



Пере́ц перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижка стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотвержения. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, и кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографию в трех экземплярах с приложением двадцати отпечатков пальцев, и чтобы никто-никогда не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Пере́цом, но только вряд ли он Пере́ц, потому что Пере́ц убыл на Материк и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Пере́ц, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, металась тень, поднимался разноцветный дым. Пере́ц шел, и в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсыхая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Пере́цу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он подходил уже к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все

пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода испортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что «предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах». Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать, и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Заломнили запах, сотрудник Пере́ц?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И, представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, залупался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезавших из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, и не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере, и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его несколько не касалось.

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы испорченные машины или плохо отлаженные.

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий — Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неудовольствованный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура не белковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллект — лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над пре-

красной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканом воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Пере́ц, но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажавшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ее шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбаит ток. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спаси нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный, тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же — железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки.

— Взглянь да переменяй место, — проскрипел издали какой-то шарливый старик.

— Легко сказать — переменить место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительно бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получать новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставь! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины; Пере́ц не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пе-

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

строе платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закатанными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговками. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять, какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слышал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственному близким мне существам, то это, по моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствие нужно, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... — Она вслипла.

— Н-ну... — пробасил Винни Пух. — В общем-то да... — Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права. Настоящей работы нет.

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито прокрипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими большими внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами,

с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня страдает наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забывает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал. Я кончаю проектирование вертолета и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — прокрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то голбин, не то астролог — в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, пролить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой я? Нет! Этого вы от меня не дожждетесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно наткнешься на стену, или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...

— Они, несомненно, существуют, глупая вы истеричка! — прокрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет столь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хотя один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камнями... как средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешали беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему собственно и нет? — сейчас же взвесь Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не спрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит, и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться

бесшумно, переменял позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку, возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник. Но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна... если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-то? — спросил Винни Пух рассеянно. — Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружения, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голосом произнес Астролог. — Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!...

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попробуем рассуждать логически...

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает преобладающий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уясил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае — принимая существование связи как аксиому — либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устроивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго

болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила», — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: новые цифры...» «И что это у меня питание барахлит», — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окрашенные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услышал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собой земли, не чувствуя своего тела, отплывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перцу стало еще страшнее. Многочисленный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замерзшие лица, и он все старался не отстать от длинноногого человека номер «14», потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздадут оружие, а я не знаю — где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздался одобрителный возглас, и кто-то знакомый побегал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны, со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь я вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пушу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподдалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «Финиш», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «Гл. судья» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме», — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— ...Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить бедотню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, выткнув металличе-

ские шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силились понять, какая существует связь между ними и действительностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источником терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно и плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай и по пожару бродили озяряемые багровым пламенем люди в картонных масках с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно, почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала: — Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

«В самом деле, почему?» — подумал он. — Наверное, потому, что мне было все равно».

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздик, — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал одну ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были биты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. Буду сегодня спать в ванне, подумал он. А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды.

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости, — и прихрамывая пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блеснул кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдвигая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные, умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы...» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста. Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Можешь просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не ваш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно ваш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечтаешь, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьемся с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирал огромный мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истерическую куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала — видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕРЕЦ

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину, — и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые ворота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев...

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управления здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то птичка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было. Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

«Во всяком случае, — подумал Перец, — я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить

кефир, наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, и запаховаться в директорский халат, и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалование и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованием и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет...»

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и было ясно, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуются все, на что он способен.

— Здравствуй, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо. Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, сообщил Домарощинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов. Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубльз сегодня равно шестнадцати...

— Какое дубльз? — спросил Перец, поднимаясь. — Число пятен, — быстро сказал Домарощинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с... Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо. — А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарощинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостоянии тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарощинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного... Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажете доложить?

— Знаете что... — сказал Перец угрожающе. — Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам, словно бы ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия. «Дурак и дурак, — подумал Перец, стараясь взять себя в руки. — Что с него взять?»

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатое июня... время: семь сорок пять... место: над обрывом...» Но это предварительно... Это черновик...

— Слушайте, Домарощинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка ваша эта глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тыфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке смирно и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу... — пробормотал Домарощинер, всхлиывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... справка... и умываться...

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите же меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом.

Паяц старый, подумал Перец, юродивый...

— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер, тяжело дыша. — Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта? — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удущья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом. — Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденая от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблучками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка.

— Всякое уже, кажется, бывало, — лихорадочно думал он, — но это уж совсем... Это они уже говорили... бежать, бежать надо! Только как бежать?

Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда извольте... — прохрипел он. — Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, заглох, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строить в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления.

«Ким, — думал он лихорадочно. — Ким не позволит... неужели и Ким?.. запрусь... запрусь в уборной... пусть попробуют... ногами буду бить... теперь все равно...»

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двухсветные залы, мимо охранников в парадной форме, при орденах, по вошеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик к гигантской кожаной двери с табличкой «Директор». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер дотронул его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуй, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на испанской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. «Сейчас умрет человек», — подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно... — просипел он, задыхаясь. — Без визы директора невозможно... личный... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас... — просипел Домарощинер. — Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа — тома в тисненых золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну, хорошо, пусть будет так...»

— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол, и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги; и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, а Домарощинер был уже около дверей и, пятясь, наклонив корпус и держа руки по швам — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарощинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец. Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарощинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову. Домарощинера не стало. Перец откашлялся.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегодняшней день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами — 9.30. Осмотр ноги — 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попрос. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пиллящих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль... и еще этот склад машин. Взору, решил он. Он представил себе Управление, вид сверху, и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два фиделитических зубемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря рукой под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с ней — костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьер небольшой аквариум — в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный кальмейстерский бунчук с конскими хвостами.

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомой семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком — и двое мальчиков в кадетской форме). Был там «парабеллум», хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе была еще кипа папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказалась черновой проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение Музея истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музей не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... впрочем, все шоферы резинщики...

Нет, это надо прекратить: кефир, шахматки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь там стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде бы все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги... Слушай, Перец, — подумал он, — а может быть, вся эта карусель как раз для того и существует, чтобы все работало? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара — в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искореняют, лес превращают в мрак. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарошнина и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут... этому... мсье Ахти... резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди и людишки, и человекишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью — улицы-де который год не метены, шофера Тузика будут за систематическое непосещение бани, и в перерывах будут бегать в латрину над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, Группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.» И еще... «Группа Научной охраны л.» Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то никогда не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им, во всяком случае, делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это воючее засыплот... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волюдавами. Ну, вообще-то... вообще-то лес охранять следует. Только вот... Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнениях пожевал губами. Н-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распущу и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнувшие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, словно бы спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддавалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, залпывая ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распустить не буду, глупо, зачем распустить готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще

покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные непроизводительные препоны.

§ 2. Однако, наряду с достигнутыми достижениями, вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упорядочение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявление всякого рода случайностей незакономерными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Винованность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитность), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения №№ 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитность) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение либо взыскание в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана... месяца... дня... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ (...).

Перец облизал пересохшие губы и переворнул страницу. На следующем листе был приказ об отдале под суд сотрудника Группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в посылке на ляду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.. Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалования — посмертно на собаководо вооруженной охраны Г. де Мономоранси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы о единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, — тоскливо подумал Перец. — Этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте дверь и идите сюда, — сказал Перец. Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перцу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Перца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Препятствие директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение... при чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарошнин ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик, — сказала она озабоченно. — Домарошнин там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет...

— Да плевал я на Домарошнина! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я...

— На Домарошнина плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь... Она надавила Перцу на нос, как на кнопку. — У Домарошнина есть два блокнота. В один блокнотик он записывает, кто что сказал, для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Перца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеетствовлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеетствования. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовещественный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеетствлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси твоего теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще... Это же азбука. Ни одного дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близорукенькими глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы, если не считать пустякового приказа о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директивы? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... хотя лучше, конечно, не вникать.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перцу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, действительно необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно... Елки-палки... Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.



— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ,— с необычайной язвительностью сказал Перец,— сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются. Сегодня же! Ответственный — Домарощинер... Эй-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту,— сказала Алевтина.— Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер... Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением.— А что! — сказала она.— Правильно! Это даже прогрессивнее... Маленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перцем тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди,— сказал ошеломленный Перец.— Подожди...

— Ты у меня умный, — сказала Алевтина нежно.— Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди,— сказал Перец.— Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям. Перец устремился за ней с криком: «Не сходи с ума!», но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально,— тихо сказал он, тесня Переца к столу,— это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

ЭПИЛОГ

КАНДИД

Он проснулся, открыл глаза и устался в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево — нагруженные, слева направо — порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отошел, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун,— плаксиво сказал старец,— совсем у тебя ничего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченог наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если спрятал, ты доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброжелательная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть.

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликлось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос, и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распаивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребяташек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... Спокойствие и Слияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что может думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержанье, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, мужики — не больше чем козлы... это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды... и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заблуждения, чудовищные в своей абсурдности и грандиозности затеи... Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдунов. Но мало ли кого можно встретить в лесу? Я видел гибель голодной деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с руководом... гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а Одержанье... Но я-то не знаю, что такое Одержанье. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «плановое, прекрасно организованное, четкое продуманное наступление нового на старое», «своевременное созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Слово маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко толчущего бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазает, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, окружили ему руки, так больше не глазает. Когда уходишь, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пенёк этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы с тобой там баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна вот тоже плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавают и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что

там бабы, я в воду даже за бабами не полез, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро упрямимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид. — А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болоте надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался, шерсть на носу...

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился: И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили. Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержанье произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно ты занятно рассказывал. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уж не возвращается... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останутся больше женщины; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить, Одержанье». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднывавших за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слышал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал?.. А, ну да, ты же мне и сказал: ужоу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи и такие злаки произрастают... Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы мы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — торопливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь, где Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: Скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Городе, например, или еще лучше — в Муравейниках, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошла-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем

и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие назад возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... у кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуну полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги ломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами проросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болят и умереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудачьей деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна...

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес уже тебя жевал, и, как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, и над тобою нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, и я прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажавшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... и ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — мне, наверное, не удастся — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу не приходило в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же, — немедленно отвечивал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричали хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай, не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.